

По сути, в данных случаях реконструкция эмблемы приобретает характер интерпретации, логика которой задается параметрами, установленными автором: это название, которое оформляется ключевым словом, словесная «картинка» и толкование-резюме. Поэтому можно говорить о специфическом эмблематическом коде малой прозы Ф. М. Достоевского, обращение к которому помогает читательскому постижению авторского замысла.

-
1. Аннинский Л. Лесковское ожерелье. М., 1986.
 2. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1981. Т. 22.
 3. Шаулов С. С. Этический парадокс рассказа Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» // Достоевский и современность : материалы XV Междунар. Старорус. чтений 2000 г. Великий Новгород, 2001.
 4. Юрьева О. Ю. Бунт против тирании и тирания бунта в рассказе Достоевского «Кроткая» // Достоевский и мировая культура : альманах. СПб., 2006. № 21.

Й. Догнал

г. Брно (Чехия)

Парадоксалист Ф. М. Достоевского и доктор Керженцев Л. Н. Андреева

В истории литературы не удивляют определенные сходства, заимствования, аналогичные ситуации, подобие стилей писателей и т. д. Историческая поэтика А. Н. Веселовского связывает такие явления или с воздействием одной литературной среды на другую (миграция сюжетов), или с подобными условиями, в которых данные произведения возникают (самозарождение). И. Тэн в своей известной «Истории английской литературы» и в «Философии искусства» определил факторы, при помощи которых можно точно описать, даже предвидеть характер литературных произведений (раса, среда обитания и исторический момент), так как они предопределяют авторскую позицию, выбор и «обработку» материала. Сравнительный метод в литературоведении подтверждает, что, как это

ни удивительно, сходства между литературными произведениями действительно имеются, хотя они часто не так прямолинейны, как предполагал Тэн. Иногда больше чем тэновские факторы действует, может быть, вдохновение, которое в подходящий (исторический) момент приходит от определенного литературного произведения, толкнет писателя, мысль и интуиция которого направлены на то, что его волнует, — и этот толчок выльется в новое литературное произведение.

Творчество Ф. М. Достоевского является именно таким источником толчков — для читателей, психологов, философов и пр., в том числе и для писателей последующих поколений. Одним из русских писателей, на которого Достоевский несомненно сильно повлиял, был Леонид Николаевич Андреев. На это указывал в своей работе, например, В. Беззубов [2]. Мы хотим обратить внимание на типологическую связь двух персонажей обоих писателей — «парадоксалиста» из «Записок из подполья» и доктора Керженцева из андреевского рассказа «Мысль». Хотя оба произведения написаны в разное время, их разделяет приблизительно 40 лет, но связывает интерес к глубинным внутренним переживаниям индивида.

Роль «Записок из подполья» не всегда полностью оценивают в русской, да и в европейской литературе. Не случайно, кажется, Лев Шестов ценил это произведение очень высоко не только в качестве вехи в литературном процессе, но и как серьезную работу незаурядного философа. Его слова: «На самом же деле, если была когда-либо сделана “Критика чистого разума”, то ее нужно искать у Достоевского — в “Записках из подполья” и в его больших романах, целиком из этих записок вышедших» [4] — явное свидетельство почтения и уважения.

Парадоксалист Достоевского, по данным, приводимым в произведении, коллежский асессор лет сорока, решил высказать в своих записках именно то, что имеет место в его мыслях. Он отошел от общества, смотрит на все окружающее издали, из своего «подполья». Сначала кажется, что им овладело какое-то чувство, разрушающее, отрицающее все, что его окружает. Он пренебрегает своим прошлым, по сути, нигилистически относится к людям, к будущему, к ценностям, к отношениям. Как это ни парадоксально (он ведь, по словам самого писателя, *парадоксалист* [3, с. 179]), чуть позднее читатель может найти его не только негативную, но и позитивную «программу», своего рода цель. Она выявляется в резкой полемике с «господами» — этим словом он пользуется тогда, когда

в диалоге обращается к позитивистам¹ — людям, мыслящим по-другому и утверждающим, что мир рационально устроен и поэтому познаваем, даже конструируем. Повествование в «Записках» ведется от первого лица, и страстный диалог с «господами» отличается тем, что главный персонаж, по сути дела, не нуждается в коммуникационном партнере: он сам собою доволен, неоднократно упоминает о том, что он умный человек и твердо знает, что думают о мире и о нем его противники. В резкой полемике с «господами» автор «Записок» стремится к единственному — доказать, что человек представляет собой не «клавишу», не «винтик», а самостоятельного субъекта, имеющего право действовать по своему усмотрению, причем ни в коем случае не строго рационально. Даже наоборот — многие поступки человек совершает, по мнению парадоксалиста, вопреки своим интересам, вредит самому себе, сознает это, но все-таки не может действовать по-другому. Свидетельством этого является описание автором «Записок» своего приятеля, который сознательно, совершенно рационально определит, как надо действовать, а потом «... ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно...» [3, с. 111].

Следует обратить внимание на часть процитированного отрывка: «по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов», — чтобы понять мысль коллежского асессора: человек настолько сложное существо, в нем не только сосуществует, но *противоборствует* несколько пластов его «я», что одним только рассудком, одной только сознательно воспринимаемой выгодой его поведение не объяснить. И самое главное, этот факт не является пороком, с которым надо бороться, а наоборот, он — составная часть человеческого «я», что-то неотъемлемое и важное, придающее индивиду именно его исключительность и *свободу*. Автор «Записок», таким образом, явно протестует против убеждения, что рациональное начало должно стать основной ценностью, основополагающим принципом, по которому индивиду и всем ему подобным, т. е.

¹ Барбара Ламбек в своей монографии утверждает, что Достоевский в произведении выражает свое несогласие с взглядами Н. Г. Чернышевского [5], однако, на наш взгляд, это полемика не только с одним Чернышевским, но и с позитивистскими взглядами на мир и их сторонниками вообще.

всему человечеству, надо действовать, чтобы прийти до какого-то состояния совершенства, свободного от пороков не-рационального поведения, иррациональных действий, которые допускает лишь несовершенный, иррациональным принципам подчиняющийся индивид.

Рациональные принципы — это стена, о которой в «Записках» говорится: «Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, т. е. непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена — не отвод, как например для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое...» [3, с. 103–104].

Свобода «воротиться с дороги», свобода «отвода» — это по своей сути принцип творческий, стихийный, дионисийский, это страстный протест против «дважды два четыре»: «Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» [Там же, с. 105–106]. Свобода индивида, его хотя и не всегда управляемое сознанием хотение — вот в чем парадоксалист находит суть индивидуальности и человеческой природы вообще. Отстаивая этот постулат, автор «Записок» рискует быть непонятым, однако с ним всегда будет его «подполье», сокровенное место, в котором он может оставаться самим собой.

Мы можем понимать «подполье» и в другом значении — как «пласт под сознанием», т. е. именно та часть «я» литературного персонажа, на которую он все время натывается, защищая право индивида на иррациональные поступки и даже считая, что они представляют собой именно основную предпосылку свободно действовать, принимать участие в «живой жизни», не predetermined какими бы то ни было заранее рационально сформулированными, «вычисленными» стенами, за которые выйти нельзя. Этот индивидуальный мир — основная предпосылка и гарантия свободы и независимости индивида.

Парадоксалист Достоевского, таким образом, не выбирает рациональный подход к жизни, индивиду и его окружению, а, наоборот, отрицает все, что ограничивает индивидуальную свободу, волю, независимость от чего бы то ни было. Иррациональное является в его понимании

существенной составной частью человеческого бытия, уникальной, неповторимой чертой личности, отличающей ее от всех других индивидов и дающей ей возможность быть именно самой собою. В этой сфере «я» зарождается, утверждается индивидуальность свободной личности, в ней надо искать источник никогда не законченного стремления к «живой жизни».

* * *

Доктор Керженцев — герой андреевского рассказа — находит «почву под ногами» не в том, что непонятно и скрыто где-то в недоступном строго рациональному утилитарному разуму слое индивидуального сознания. Он строго рационален. Его письма-листы по своей форме близки запискам парадоксалиста: это свидетельство самого субъекта о том, что с ним происходит или произошло; они откровенны — доктор Керженцев хочет с их помощью высказать все то, чем он руководствовался, готовя убийство писателя Савелова, и что с ним произошло после того, как он его совершил.

Композиционная разница заключается в том, что парадоксалист сначала повествует о своих взглядах, в которых отсутствует элемент рационального, а Керженцев, рассказывая о случившемся, вначале твердо опирается на свою рациональность, даже гордится ею, выражая пренебрежение к тем, кто полагается на свои чувства, интуицию. Парадоксалист сначала дает вводные заключения, а потом, во второй части «Записок из подполья», рассказывает о происшедшем; Керженцев же вводит в обстановку, описывает события и только потом — реакцию на них. Взгляды парадоксалиста, по сути, полностью определены, он их лишь документирует.

Если парадоксалист в своих взглядах свободен, не завистит от мнения других, то у Керженцева нет никакого «подполья», куда он мог бы уйти от тех, кто его не понимает. Парадоксалист принял одиночество как результат своих взглядов, которые «господа» отрицают, но от которых он не хочет отказаться; это одиночество от силы — оно для него представляет собой убежище, своего рода *centrum securitatis*, куда он может вернуться, как только захочет. Доктор Керженцев, наоборот, лишился одиночества, в котором жил до того времени; им овладел ужас познания, что основы его одиночества — пренебрежение всеми, кто недостаточно рационален (отец, Маша, женщины вообще), — рухнули, и перед ним что-то непостижимое, иррациональное.

Анализируя все существенные моменты, связанные с убийством юриста и писателя Савелова и с последующей рефлексией, Керженцев хочет понять (т. е. объяснить при помощи логической, рациональной цепи «причина — следствие») причины и суть процесса изменений в психике. Его обращение к тем, кто решает вопрос о том, болен ли он психически или нет, менее важно, чем ответ, который ищет сам Керженцев. В 1-м листе он пишет экспертам: «...вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячая рубашка, или кандалы. Тут есть третье — не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое» [1, с. 382].

Факт, что все для него в чем-то ново, признает Керженцев и тогда, когда он, «холодный и рассудочный», пытается найти обозначение повода для убийства: «Мсть? Да, скорее мсть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства» [Там же, с. 384]. В этот момент появляется первый импульс, свидетельствующий о контакте Керженцева с областью непознанного, — рассудочный человек признается в том, что дело в чувстве, не в мысли. Кажется, именно это «незнакомое чувство» незаметно повлияло на все его последующие рациональные мысли и поступки — чувство определило их направление. И это не ускользает от внимательного анализа доктора Керженцева: «Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился» [Там же, с. 385]. Он, однако, замечает это только *post factum*, после содеянного. Рационально размышляющий доктор Керженцев допускает, что в его рассуждениях перед убийством появлялись и те опасения, которые связаны с внутренними переживаниями, — но он знал себя и не боялся своей совести: «Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест его тела, воспитанного в известных традициях» [Там же, с. 387]. В связи с этим он упоминает Раскольникову и предполагает, что ничего подобного с ним, рациональным доктором Керженцевым, не произойдет.

Как видно, андреевский убийца знает, что существуют чувства и совесть, но он твердо убежден, что разум сможет с ними справиться. Будучи врачом-рационалистом, он даже в этот момент рефлексии говорит не о мыслях, а о нервах, теле, традициях, т. е. о материи для мысли. Так же рационально он находит и способ, как добиться безнаказанности и все-таки Савелова убить. Готовя план, Керженцев вновь размышляет о том, что может не выдержать предстоящее испытание: «И еще в то время, когда

мой план находился только в проекте, у меня явилась мысль, которая едва ли могла прийти в безумную голову. Эта мысль о грозной опасности моего опыта. Вы понимаете, о чем я говорю? Сумасшествие — это такой огонь, с которым шутить опасно. Разведя костер в середине порохового погреба, вы можете чувствовать себя в большей безопасности, нежели тогда, если хоть малейшая мысль о безумии закрадется в вашу голову. И я это знал, знал, знал, — но разве опасность значит что-нибудь для храброго человека?» [1, с. 392]. Рационально разработанный план тщательно доводится им до конца. Делает он это тоже строго рационально, утверждая в третьем письме, что «...каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана» [Там же, с. 393]. Антиципация конфликта *ratio*, т. е. мысли, рациональных рассуждений и чего-либо другого, уходит на задний план, исчезает, доктор Керженцев полностью доверяет себе и своей способности рационального анализа. Он анализирует души и сиделки Маши, и своего отца — и находит у них отсутствие рационального начала, признавая, однако, что они обладают чем-то, что ему непонятно. Он — рационалист во всем, что делает и думает: «Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли...» [Там же, с. 401]. И подтверждает это вновь, когда рассказывает о том, как готовился к убийству после сыгранных припадков: «Я и моя мысль — мы словно играли с жизнью и смертью и высоко-высоко парили над ними» [Там же, с. 404].

Совершив убийство, Керженцев скоро теряет свое убеждение в том, что рациональная мысль является единственным принципом, который управляет его жизнью. У него появляется кошмарная «мысль» о том, что он лишился ума. Для Керженцева это сюрприз — в его самопонимании появляется вариант, который неожидан, неприемлем, иррационален: «...в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то лице: *“А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший”*» [Там же, с. 408].

Для строго рационального, односторонне мыслящего, не находящего никаких дилемм доктора Керженцева начинается что-то невыносимое: его мысль ему изменила. Односторонняя рациональная ясность, не допускающая сомнений, нарушена, и Керженцев теряет почву под ногами. Он мгновенно начинает анализировать случившееся, но ему это не удается. Керженцев привык работать с мыслями, а это новое не обладает

теми свойствами, которые ему нужны, чтобы по-прежнему найти ясные причины и вытекающие из них выводы. Ясное становится неясным, вместо мысли он нащупывает что-то другое: «Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли — те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать. И самое страшное, что я испытал, — это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое “я” находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, живут. Живут какие-то загадочные существа, быть может люди, быть может что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба» [1, с. 410].

Расколотый на две половины, Керженцев пытается по-прежнему рационально исследовать свое состояние, найти «правду» о себе — но чем больше ищет, тем больше сам в себе и в своих мыслях сомневается. Кончатся его размышления сценой, когда он опускается на четвереньки и ползет по полу. Единой правды он, однако, не находит — остается дилемма, сформулированная в вопросе, который он задает себе и экспертам: «Кто же я — оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума?» [Там же, с. 415].

Решение экспертов (три признают доктора Керженцева сумасшедшим, три не согласны с тем, что он лишен ума), на наш взгляд, не играет существенной роли в решении вопроса о том, сумасшедший он или нет. Основным является факт, что в обоих произведениях мы сталкиваемся с персонажем, повествующим о том, что его жизнью управляют два принципа: рациональный и иррациональный. Первый из них персонажу понятен, позволяет ему управлять собой, анализировать свое состояние, свое место в обществе, свои поступки, планировать свои будущие действия. Другой принцип, наоборот, иррационален по своей сути, но тоже влияет на судьбу и поступки персонажа, но этот принцип не поддается рациональному анализу, он просто есть, сам по себе дает импульсы, решает, заставляет действовать даже вразрез с первым, рациональным принципом.

Оба персонажа, оба сочинителя записок и листов сознают, что в их жизни эти два принципа играют важную, решающую роль. Оба персонажа умны, способны на саморефлексию, подробно анализируют и осмысливают, какой из этих принципов более силен, более важен для «оформления» их поступков, а какой управляет волей самого персонажа. Парадоксалист Достоевского и рационалист Андреева приходят к одному и тому же выводу: рациональное подчиняется чему-то другому, приходящему из глубины индивидуального «я» и заставляющему человека действовать не так, как он считает уместным, а иногда как раз наоборот, в соответствии с иррациональными, неизвестно откуда приходящими импульсами.

Андреевский доктор Керженцев, по сути, тоже становится парадоксалистом: факт, что он ползет на четвереньках и воет, как зверь, абсолютно парадоксален — герой не следует велению мысли, это не дело его *ratio*. Односторонне рациональное самопонимание расшатано, предвидеть или планировать свои поступки он не способен, так как не знает, сможет ли он их осуществить в согласии со своими рациональными намерениями. Неудивительно, что доктор Керженцев думает и о самоубийстве. «Может ли человек существовать, не опираясь ни на что, или ему предстоит самому в ничто обратиться, раз он утратил под ногами почву?» — спрашивает Л. Шестов [4].

Оба персонажа, благодаря повествованию от первого лица, вводят читателя в полностью субъективизированное миропонимание и самопонимание. Они позволяют, таким образом, проникнуть в их внутренний мир, показать столкновение обоих принципов, руководящих их поступками.

Четкие наблюдения обоих умных, незаурядных персонажей открывают им новую перспективу, новый взгляд на индивида: в его внутреннем мире, определяющем внешнее поведение, играет очень важную роль что-то, не поддающееся индивидуальной воле и индивидуальному разуму. Подпольный человек Достоевского, парадоксалист, это принимает, становится даже своего рода глашатаем права каждого человека действовать по этому иррациональному принципу и совершать неразумные, ему самому полностью не понятные поступки. Такой человек, однако, не теряет «нормальности», наоборот — определенная мера парадоксальности в поведении индивида считается чем-то само собой разумеющимся и не лишаящим индивида права на уважение других. Рационалист Андреева, наоборот, попадает в тупик: черно-белое видение приводит его к заключению, что это *что-то*, появляющееся во внутреннем мире индивида, то, что, правда, отчасти антиципировалось, но всегда было

затоптано верой во всемогущий рациональный принцип, наконец-то побеждает, оказывается более сильным, чем мысль. Одиночка не способен справиться с таким крушением самопонимания и ему нужно решение других (экспертов), чтобы опять найти почву под ногами, чтобы на что-то опереться. А если герой не найдет такой прочной почвы... И Достоевский, и Андреев находятся на том же пути, оба они протестуют против прямолинейного, упрощающего рационализма. Андреев не использует диалогическую структуру (о ней же говорил в связи с «Записками из подполья» и Бахтин), свойственную первой части «Записок из подполья», листы Керженцева скорее напоминают их вторую часть, т. е. внутренние рефлексии над своими поступками и мыслями.

Несмотря на разницу, которая имеется между обоими персонажами, Ф. М. Достоевский чуть раньше, Л. Андреев вслед за ним открывают в своих произведениях путь к новому пониманию внутреннего мира индивида². Оба подтверждают, что в нем остается много неисследованного, темного, подспудного, не поддающегося рациональному анализу и не подчиняющегося человеческой воле, не понятного самому индивиду. Оба они ставят под сомнение последовательный рационализм второй половины XIX в., по-новому формулируют вопрос о ценностях по отношению к индивиду, его внутреннему «я», его поступкам и подготавливают почву для психоанализа. Подобные условия, подобные цели, подобное мироощущение, почти тот же взгляд на человека — подобные результаты, господин Тэн...

1. Андреев Л. Н. Собр. соч. Т. 1 : Рассказы 1988–1903. М., 1990.

2. Беззубов В. Леонид Андреев и Достоевский // Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 80–113.

3. Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 5 : Повести и рассказы 1862–1866. Л., 1973.

4. Шестов Л. Преодоление самоочевидностей (К столетию рождения Ф. М. Достоевского) [Электрон. ресурс] // На весах Иова: (Странствования по душам). Париж, 1929. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest16.htm> (дата обращения: 15.09.2011).

5. Lambeck B. Dostoevskijs Auseinandersetzung mit dem Gedankengut Černyševskijs in «Aufzeichnungen aus dem Untergrund». Tübingen, 1980.

² «В андреевском человеке тоже сильна стихия иррационального, бессознательного, власть инстинктов. Для него тоже человек тайна» [2, с. 97].